

Евгений Сафронов



Экспедиция

Бабушки офлайн

Евгений Сафронов

**Экспедиция. Бабушки
офлайн. Роман**

«Издательские решения»

Сафронов Е.

Экспедиция. Бабушки офлайн. Роман / Е. Сафронов —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-905937-6

Многим известен образ фольклориста Шурика из комедии Гайдая. В реальности всё немного по-другому: интереснее, мистичнее и даже... забавнее. Автор — фольклорист, который более 15 лет записывает устные рассказы, связанные с колдунами, оборотнями, НЛО и т. п. Встречи с современными знахарками и сельскими самогонщиками, яркими личностями и невыдуманными характерами — всё это в остросюжетном романе об экспедиции в неведомое, настоящую «неизвестную землю» для большинства горожан — российское село.

ISBN 978-5-44-905937-6

© Сафронов Е.
© Издательские решения

Содержание

Часть 1. Накануне	6
Глава 1. Будов	6
Глава 2. Баба Поля	10
Глава 3. 417-я	14
Глава 4. Тетя Марина Рядова	19
Глава 5. Рыжий	22
Глава 6. Стариков	26
Глава 7. Баба Катя Арсеньева	31
Глава 8. Сланцев	36
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Экспедиция. Бабушки офлайн Роман

Евгений Сафронов

Иллюстратор Максим Васи́лин

© Евгений Сафронов, 2018

© Максим Васи́лин, иллюстрации, 2018

ISBN 978-5-4490-5937-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть 1. Накануне

Глава 1. Будов

– Спаси, Господи, от крика дневального, работы физической и занятий тактических, от овса и перловки да строевой подготовки. Ну там еще что-то про море Азовское. Я уж сейчас не помню. Ну и аминь, аминь, аминь, естественно, – Будов разлил еще по одной.

– Круто! Да это же заговор самый настоящий! – Стариков улыбнулся, ненадолго почувствовав облегчение: Петька вроде бы начал «проявляться». Возвращаться понемногу к образу того самого шутника и бородача, который полтора года назад загремел на срочку.

– Круто, брат, да не больно...

– А что же? – Лешка вспомнил их прежние масленичные переговоры. Будов обычно на Масленицу играл роль балаганного деда, а Стариков – его хитрого слуги. Петька должен был сейчас продолжить: «Да всё то же!» – «А как же?» – «Да все так же!».

Но вместо этого недавний дембель выпил, не чокнувшись, и изрек:

– Эх, на спирту любая гадость принесет солдату радость!

Лешка снова заулыбался.

– Ты, гляжу, вагон и маленькую тележку армейского фольклора приволок со службы... А шрам-то на подбородке откуда?

– Оттуда.

Будов вдруг помрачнел и предложил выйти покурить. Они сидели в «Советской» на четвертом этаже. Эту закусную друзья облюбовали еще в давние времена – когда Стариков подрабатывал журналистом.

С Волги дул влажный неприятный ветер. Сквозь белесую взвесь в вечернем свете фонарей едва проступал памятник Ильичу. Стариков искоса посматривал на друга, раздавшегося в плечах, но как-то осунувшегося в лице: на худых небритых скулах пробивалась зеленоватая поросль, напоминавшая камуфляж.

– Я ведь Наташку бросил, – сказал после молчания Будов и выдул струйку дыма в сторону затерявшегося в тумане Ленина. Прозвучало это почти буднично. Лешка удивился.

– Ты чего, Петь? Она же ждала, все разговоры – только о тебе, дураке.

Будов поморщился:

– Давай не будем. Ну ждала! Ну молодец! И статус «Вконтакте» правильный подобрала – там стихами: «Ждать любимого легко. Ого-го-го да ого-го-го!». И прочая муть. Чё-то отдохнуть мне надо ото всего, Лешка. И от нее – в том числе.

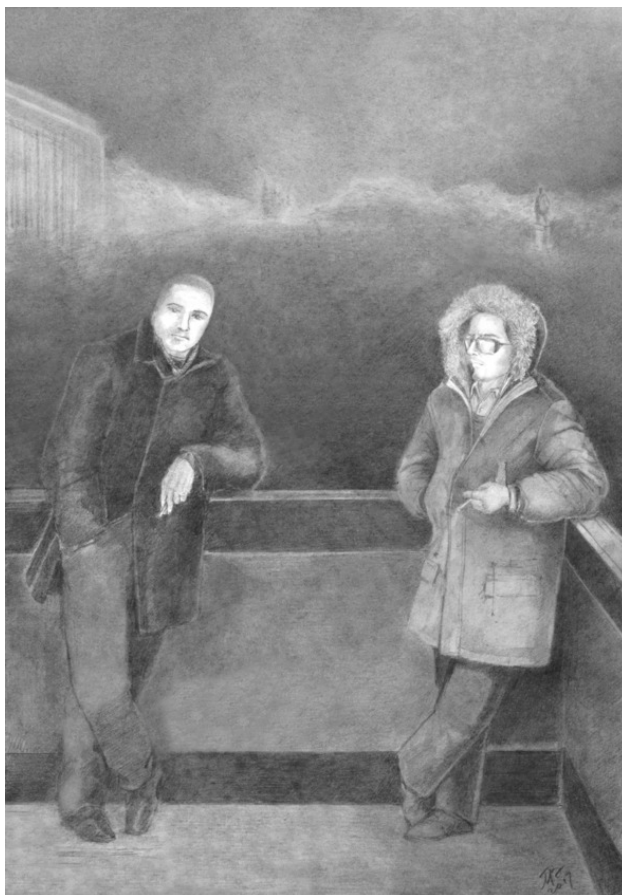
Стариков нахлобучил капюшон куртки, пытаясь закрыть левое ухо от ветра:

– Да нет проблем – отдыхай. Работенку-то искать будешь?

– Не-а, – Будов покачал головой и расстегнул верхнюю пуговицу осеннего черного пальто. – Пока просто отдохну. Ты-то кем сейчас? Фрилансишь всё?

– Да нет, в педухе – старшим преподавателем.

– А-а. Ну-ну.



Автор иллюстраций – художник Максим Васи́лин

Они снова помолчали. Старикову почему-то захотелось поскорей уйти и не звонить Петьке несколько месяцев. Последний раз он так себя чувствовал, когда энергичным шагом обогнал болезненно вихляющегося и неуверенно переставляющего ноги парня-ДЦПшника. Лешка спешил на лекцию и обходил людской поток почти на автопилоте. Парень остался далеко позади, Стариков его почти и не заметил, но затем, подходя к крыльцу университета, неожиданно ощутил стыд за звуки каблуков своих туфель, которые так бодро прошелкали рядом с медленными серыми кроссовками инвалида.

– Слушай, Петьк, давай еще по одной, и я – домой. К лекциям надо готовиться. У меня еще два практикума у этих пятикурсников по «Культуре досуга». Не хочется – жуть. Но надо.

– Ага. Понял, – Будов пригладил едва проступающий «ежик» на своей голове и указал глазами на туман. – А в Ульске все по-прежнему. Туманы, трамваи, Волга и мост. Симбирский край и земля отцов, блин. Давай до филармонии прошлепаем на пять минут: мост глянем, и пойдешь ты к лекциям чертовым готовиться. Угу?

(Крылатый ангел. Статус на форуме: гуру) «Девочки, мой как вернулся – сначала вроде как нормально всё. А потом звонит и заявляет: „Давай отдохнем друг от друга. Хотя бы с месяц“. А я его два года ждала. Это вот нормально?»

(Воїї. Статус: новичок) «Ну всё: пиши пропало. У меня то же самое было. Ребенку уже месяцев семь стукнуло, а он, сволочь, через три дня, как пришел с армии, говорит мне: „Я охладел!“. Не верьте им и не ждите их!»

(Диффчёнка. Статус: продвинутый) «Да у них там зомбаж какой-то в этой армии. Дебилов из них делают. Мой тихоней раньше был, надыхаться на меня не мог. Трех месяцев не прослужил – и шутки какие-то дебилные стали. И писать-звонить перестал. В общем, я ждать его не стала – и сейчас счастлива. Он вернулся – и беспробудно запил. Бог уберег».

(Кучерявый. Статус: новичок) «Вот из-за таких, как ты, мужики и спиваются. Когда девчонке 18, а парню дембель через год, не стоит парню сомневаться: она уже его не ждет».

(Стерва. Статус: гуру) «Если он говорит: „Мне нужно отдохнуть!“ – значит ни фига не любит уже. Это я сама проходила. Ищи другого, а если можешь – забудь».

Будов грохнул велосипедом об стенку остановки и сел на оставшийся брусок лавки. Дело двигалось к весне, но погода этого еще не расчухала, не поняла. Снег валил серыми хлопьями, которые, приземляясь, желтели в свете потерявшегося за остановкой фонаря. На велосипеде Петька ездил теперь всё время: снег ему не мешал, да и без маршруток – сплошная экономия.

– И ездить мне некуда. На фиг, на фиг всех! – сказал он в сторону смутной фигуры, нарисованной на внутренней стенке остановочного павильона. Видимо, кто-то из местных графферов облюбывал эту территорию – в качестве креативного квартала. Черная фигура почти стерлась, и Петьке стало ясно, что графферы сюда не придут. Значит, пить придется опять в одиночку.

Будов достал из внутреннего кармана кожаной куртки небольшой флакон и внимательно посмотрел на изображение красного перца. Затем выудил оттуда же пластиковую бутылку 0,25 л, наполовину наполненную (или – наполовину пустую) водой, и перелил туда красноватую жидкость из флакона. Взбултыхал.

– Вот так, – сказал сам себе Будов. – Забыться и заснуть. Но не тем холодным сном могилы...

При последнем слове он вздрогнул, вспомнив недавние похороны. Мать лежала всю ночь в гробу, выставив в потолок заостренный носик, как у синички. Он сидел, облокотившись на край стола, и смотрел на вытянутый огонек свечи, которая иногда потрескивала, будто пустое дерево на морозе. Затем вспомнил слова Старикова, когда они сидели в столовой педуниверситета на поминках.

– Ты, Будов, ведешь себя самым стереотипным образом. Отслужил – и потерял, блин, смысл бытия. Навидался всего, жизнь – боль, одним словом. Наташку бросил, работать не хочешь. Про мать твою я уж молчу...

– Я тебя сейчас ударю! – сказал Будов, у которого выпитый стакан водки лег на старые дрожжи.

– Подожди немного, вот только очки сниму, – спокойно ответил Стариков. И ушел. Петька его тогда возненавидел. Правильная сволочь, отмазавшаяся от армии через учебу в аспирантуре. «Стереотипным образом...».

– И сейчас ненавижу, – добавил Будов и, покосившись на полустертую черную фигуру, начал крупными глотками вливать в себя перцовую настойку.

Наташка звонила ему пару раз. И четыре смски прислала. Петька ответил только на первую. На похороны она пришла, но видел он ее лишь издали – в толпе библиотекарей и учителей. Мать у него полжизни работала в школе и еще лет десять – в библиотеке. Ему казалось, что все те, кто стоял вокруг могилы, разинувшей свою промерзшую черную пасть, смотрят на него с осуждением, и он чувствовал, что может сорваться. Прямо на кладбище. Кинуть в чью-нибудь учительскую рожу могильной землей, чтобы задохнулись все от удивления. И аминь-аминь-аминь, мое слово крепко да лепко. Библиотекари, блин. Тишина должна быть в библиотеке...

Он приложился к пластику и одним глотком вогнал розовую, дезодорированную муть в горло. Затем вытянул из кармана еще один двадцатирублевый пузырек. Серые хлопья продолжали парашютить вниз и желтеть, попадая в круг фонарного света.

– Посылочку, значит, отметил? Ага. Держи еще одну посылочку! – сержант быстро и точно всадил ему кулачищем в под дых. Петька согнулся пополам. Кофейный цвет плиточного пола казармы поплыл у него перед глазами.

– Ты, мать твою, дух, тебе до дембеля, как мне на карачках до Китая. А он посылочку от мамочки решил отметить с офицерами! Ты у меня «летать» будешь, понял? Знаешь, что такое «летать», тварюшка?

Сержант Сохеев вызывал у срочников только две эмоции: ненависть и веселье. Веселились, когда он произносил свои коронные фразы, к примеру: «Эй вы, трое! Ну-ка оба ко мне!». Или: «Молчать, когда я вас спрашиваю!». Но смеялись только тогда, когда он уходил. Потому что заметь он улыбку на лице рядового – тому только и останется, что молиться святой Демобилизации.

Будов лишь потом узнал, как сержант пронюхал об их небольшом празднике с Лехой-Михой, двумя офицерами-близнецами из соседнего корпуса. Глупость человеческая не знает границ, а социальные сети, где близнецы выставили фотку их пирушки, сделанную на мобильник, есть зло. И «Вконтакте» – зло, и ЖЖ – зло, а про фейсбук и твиттер Петька тогда еще не слышал.

– В противогазе будешь все время, пока здесь работаешь. И бронежилет – чтоб надел и не снимал. Это первое. Второе позже скажу. Пшел выполнять, – вообще Сохеев был большой выдумщик на наказания. Поговаривали, что несколько дембельских поколений тому назад кто-то из срочников повесился в туалете из-за сохеевских выдумок. Но это были только слухи, а противогаз, который запрещено снимать целых семь часов подряд, – вот это реальность. Врагу не пожелаешь такого...

Как там Стариков сказал: «Жизнь – боль?».

– Сука он, этот Леша, – решил по-тяжелому опьяневший Будов. – И Наташка такая же. И мать... Нет, мать свою ты, Будов, не трогай. Для солдата – это святое. О мертвых ведь как – только хорошее можно...

Петька повернул чугунную голову в сторону творчества графферов, и человеческая фигура, чернеющая на остановочной стене, показалась ему до боли знакомой.

– Да это же Сохеев! Он, он. Ух ты, гнида! – заревел Петька и, сжав опустевший стеклянный флакон, с размаху швырнул в ненавистного сержанта. Из-за резкого движения рукой его пьяное тело не смогло удержаться на бруске лавки и скользнуло вниз. Затылок Будова неудачно встретился с железным основанием лавочки. Петька вздрогнул и, обмякнув, распластался на заиндевевшем бетоне.

Глава 2. Баба Поля

– Аннушка Златоуст, спаси и сохрани! Спаси и сохрани, святая заступница... – баба Поля привычно перекрестила дверь и оба окна спальни, выходящие «в улицу». После тщательно наложила еще три креста на угол, откуда прошлой зимой чудилось.

– Детишки какие-то зовут и зовут, Катерин... – рассказывала она своей подруге, живущей за две улицы на Новой линии.

– Эт какие-такие детишки, Полин? Что за чудеса? – тетя Катя лет десять проработала техничкой в местной школе и почиталась в Астрадамовке за грамотную. К бабе Поле, которая была намного старше ее, она относилась покровительственно, часто советовала и направляла.

– Подлинно чудеса, – быстро закивала седой головой ее сухонькая собеседница. – Вот, Кать, веришь, нет ли: лежу ночью, а уж часа два пропикало, ага, и вот с угла-те, где иконы, слышу – детские голосочки. Один кричит вроде: «Поля-а-а! Поля-аа». Я лежу – ни жива ни мертва. А он опять. И знаешь: голос-то вроде как Петьки, это сына мово старшого...

– Совсем сбрендила, старуха! – ворчливо, но по-доброму заключила благоразумная соседка. – С одинокой-то жизни и не такое представится. Ведь какой год не заявляются, сыновья-то твои? Оболтусы оба.

– Седьмой годик пошел уж, Катерин... – баба Поля наморщила маленький нос, будто от возобновившейся зубной боли.

– И не пишут-не звонят?

– Они, може, и желали бы, да уж адрес-то не помнят, наверно. А телефон-то у меня лишь третий год как поставили.

– Же-ла-али, – передразнила тетя Катя и, махнув рукой куда-то в сторону, повела приятельницу в свою избу пить чай. – Держи карман шире, как же. Если бы захотели – давно бы приехали. Оболтусы...

Помолившись своей любимой святой, баба Поля вытянула худые холодные ноги на кровати и задремала. Она спала неглубоко, так как привыкла за последние годы прислушиваться: а вдруг зазвонят или постучит кто? А может, Петечка с Самары приедет, а она и не услышит! Петя работает в Курумоче в аэропорту, должность большая, – она всё забывала, как называется. Ему некогда – вот он и не едет. Зря Катька оговаривает его и оболтусом зовет... Впрочем, за Петра она беспокоилась меньше, чем за младшего. Петечка всегда был большой, надежный – такой где хошь устроится и дорогу себе пробьет. А вот Федя – тот кто? Гармонист, одним словом. Она видела младшего сына в последний раз лет шесть назад – перед его отъездом в Новосибирск. До сих пор ей помнилась его синяя рубашка и серый, отцовский «спинжачок», в котором она его провожала.

– Как доберусь, мамк, напишу! Всё, мол, в порядке, доехал, устроился. Всё путем будет, не переживай, – уговаривал он плачущую мать, торопливо прощаясь.

Он и написал. Один раз. Письмо было короткое, на полстранички – ровно, как он и обещал: приехал, дескать, ищу работу, не переживай. Баба Поля это письмо хранила в полиэтиленовом пакете вместе с лекарствами. Таблетки она пила часто, часто и читала-плакала над письмом.



Большой дымчатый кот приходил к ней сначала редко, а потом повадился наваливаться на ноги и грудь еженощно.

– Вот дыхнуть не могу, ей-богу! Мочи нет. И ведь дымчатый, мохнатый – сроду никогда такого не бывало, Катя. Неужто домовый? – в очередной раз докладывалась она соседке.

– А ты возьми да и спроси его, черта лохматого: «К худу или к добру?» – может, ответит! – подзуживала ее тетя Катя, которая сама верила во всё это мало.

– Думаешь, спросить? – сомневалась баба Поля. – А вот и спрошу – може, не придет больше, а то ведь я и без того плохо сплю. А тут – придет, навалится, сам лохматый, большой и глазами так и зыркает! Какой уж тут сон-то...

Но спала она плохо не только из-за странного кота. Всё ей думалось и вспоминалось, всё что-то вставало перед глазами; выцветший, сероватый в свете неполной луны ковер, висевший на стене, расплывался и растекался странными пятнами. Она припоминала свекровь, бывшую хозяйку этой избы, своего мужа Колю и всю жизнь и до него, и после него...

Отец уехал, когда ей было восемь. Она пыталась вспомнить его лицо всю дорогу – смотрела в мутное стекло вагона на проносящиеся мимо редкие фонари станций и пыталась угадать, сильно ли он изменился. У нее в сумке между маминной черной юбкой и пакетом с куском хозяйственного мыла лежала его фотокарточка. Но там он молодой – там он такой, каким она его запомнила, когда он уезжал. Сейчас ей было почти шестнадцать, она ехала одна по длинной дороге, протянувшейся из Казахстана. Название «Астрадамовка» ей казалось таким же чудным, каким, наверное, представлялись для русского уха Балхаш или Чимкент.

С Ульяновска до села она добиралась на попутках. На повороте у Усть-Уреня ее подобрал неразговорчивый водитель грузовика. Он молчал всю дорогу и, высадив ее на остановке, лишь слегка качнул подбородком в ответ на девичье «спасибо».

Странница нашла отцовскую избу, где он жил вместе с новой женой и еще четырьмя детьми, уже в «сутисках» (сумерках). Ей помогла местная фельдшерица тетя Фаина – полная, разговорчивая женщина, в пять минут выведавшая у приезжей и кто она такая, и кому придется родней, и даже – в какую цену хлеб в Казахстане и «правду ли говорят, что у вас там наркоманов полно?».

Полина отвечала односложно, а сама боялась: «Как он ее встретит? Примет ли? Что скажет, узнав, что мама умерла?»...

По улице проехал автомобиль, светом фар ненадолго остановивший расходящиеся круги на сером ковре. Баба Поля вздрогнула, вздохнула и, перекрестив зевнувший рот, снова начала забываться сном...

Ей открыла дверь женщина с овальным, вытянутым лицом и светло-синими, почти бесцветными глазами. Узнав, кто она и зачем, без лишних слов пустила Полину в коридор и, понизив голос, сказала: «Иди, там он – спит. Устал. Сегодня и в колхозе был, и в МТС мотался. Работает».

Поля в полутемноте прошла через большую комнату в боковую дверь и там увидела на тяжелой, с металлическими прутьями кровати спящего человека. Он лежал на спине, закинув правую руку, согнутую в локте, на лоб. Грудь его медленно поднималась, а концы черных усов смотрели в разные стороны.

И тут что-то оборвалось у нее в груди, она вспомнила его сильные руки и как они однажды ездили с ним в Алма-Ату, и как вместе с мамой ели мороженое. «Папка! Папка!» – он вздрогнул, приподнялся, пытаясь, понять, что происходит и кто его обнимает. Затем сразу все понял, сгреб ее в охапку и хрипло со сна начал смеяться...

Ноги совсем замерзли – шерстяное, изъеденное молью одеяло не спасало от холода. Надо было вставать и зажигать печку. Слава Богу, дров у нее этой зимой было вдосталь – муж Нины Степанна из Аркаева навозил. Степанна слегла по осени, муж кормил ее с ложечки, думал – умрет не сегодня-завтра. Как-то поздним вечером он притащился в Астрадамовку – и прямоком на порог к бабе Поле.

– Христом-Богом тебя прошу, Полина Павловна, пропадаю – уж ты помолись, уж я тебя не забуду! – говорил он.

– Аннушке помолюсь, помолюсь, Анна Златоуст в беде-те никого не оставит, – кивала баба Поля. И при нем же молилась в своем уголку с бумажными иконами. Через три дня звонок – пошла, мол, на поправку Нина Степанна. А потом он и дров ей на тракторе привез: вот пользуйся, дескать, Полина Павловна, – честно заработала.

К ней многие обращались по разным поводам – Анна Златоуст никого помощью не обделяла...

Печка разгоралась плохо, отсыревшие дрова дымили и заполняли избу сизым туманом – видимо, труба забилась. Старуха пособляла огню кочергой и снова вспоминала-вспоминала...

– Ей работать надо, у нас четверо своих по лавкам – ведь не потянем. Сдохнем с голоду, Паш. Времена-то какие щас – говорят, война скоро, – услышала Полина голос мачехи на третий день, как приехала. Девушка тихонько поставила ведро с водой в сенцах – так, чтобы не загреметь.

– Дура баба! Какая война! Ты смотри не скажи кому – посадят обоих. А Полинка – девка хорошая. Я ее на эМТэсС возьму, – пробасил в ответ голос отца.

– МэТээС-МэТээС, – передразнила его голос жена. – Заладил одно и то же. Ну и кем она там будет? Тракторы твои, что ли, водить-ремонттировать? Пускай лучше в доярки...

– Не тваво ума дело, – отрезал отец. – Моя дочь, не твоя. Как сказал – так и сделаю.

Полина внутренне возликовала. Она с отцом хоть навоз ногами месить пойдет. А ведь через полтора года слова мачехи про войну сбылись. Поинка тогда уже водила и ремонтировала колхозные тракторы не хуже мужиков.

Глава 3. 417-я

В аудитории пахло пылью, старыми прялками, выцветшими чернилами и еще чем-то таким, что у Старикова всегда ассоциировалось с Шаховым, его учителем. И с фольклором, конечно. Когда Лешка впервые попал в 417-ю, первое, что он заметил, – черно-белую фотографию мужика-горшечника. Его поразили руки сфотографированного – какие-то изрезанные и искромсанные, словно поверхность Марса.

– Это мастер из Сухого Карсуна. Мы туда в 1970-х годах ездили – великолепная была экспедиция, – говорил Шахов, подпирая бороду кулаком правой руки.

417-я была сакральным местом – пространством чаепитий, народных песен и игр, репетиций масленичных представлений и – рассказов, рассказов, рассказов. Сам Лешка именно через 417-ю попал в фольклористику. Точнее, даже не через 417-ю, а через заднюю часть лошади. Была такая масленичная сценка: барину пытались продать клячу, играть которую обычно соглашались студенты-первокурсники.

– Я как раз был тогда задницей, а ты – передницей лошади. Помнишь? – пытался разве-селить друга Стариков.

– Врешь – не возьмешь, – бурчал из-под бинтов голос Будова. – Никогда я не играл клячу. Я всегда балаганным дедом да барином подвизался. Ты помнишь, какая у меня борода-то была? Чуть ли не до пуза! И это на втором курсе!

– Тут Мишка Сланцев отыскался, представляешь! – перебил его Стариков. – Из Москвы нагрянул, и сразу – в 417-ю, конечно. А там сейчас ремонт – шаром покати. Знаешь, о чем спросил? Дождался, пока я лекцию закончу, и выскочил, как черт из табакерки. «Когда, мол, в этом году экспедиция? У меня сногшибательная тема – сам Шахов закачается!»

– Шахов-то как? Всё с бородой? – спросил Петька и поднял руку, чтобы почесать обмороженную и прооперированную щеку, но наткнулся, понятно, на бинты.

– С бородой. Только уже поседевший. Но все так же бегают – со скоростью пять Шаховых в час. Помнишь? – Лешка расхохотался.

– Угу... Ты Наташку когда видел-слышал в последний раз?

– Ну, на похоронах, наверно, – Лешка посерьезнел. – А что? Мириться хочешь?

– Лешка!.. Не касайся этого, прошу. А то опять поссоримся!

– Да ладно-ладно. Слушай, у меня к тебе есть предложение на миллион. Отказаться просто не имеешь права, так как я с Шаховым уже договорился. Старик не против. Поехали с нами в экспедицию, а? Осталось всего ничего – два месяца с хвостиком.

Будов встал со скамейки, установленной в больничном коридоре, и махнул на него рукой.

– Бредишь ты, Леш. Я студентом-то был – никогда не ездил. Мне хватало 417-й: чаек, девчонки красивые да песни под гитару. Ну, правда, на Масленицу в село съездил пару раз. Какая, к черту, экспедиция?

– Брось, говорю! Тебе надо отвлечься, ты даже не представляешь, что это такое. Мы тебе тему даже придумали. Ну?!

– Не-а. Пойду я, Леш. Чё-то у меня голова кружится. Видать, здорово я к лавке приложился тогда, – Будов направился в палату.

– Стой, Будов, – Стариков разозлился. – Хрен, с тобой, не хочешь – не ездил. Сиди в городе, как сыч. Но знай: если опять начнешь «перчик» пить, я из тебя душу вытрясу!

– Тоже мне мамочка нашлась! Блюстителю порядка. Вали отсель. Созвонимся, если жив буду, – Петька зашагал по коридору, шаркая тапочками. Кстати, тапочки эти Лешка ему и привез – при втором посещении больницы.

Стариков раздраженно сплюнул себе на бахилы и повернул в противоположную сторону – к выходу.

– Ты снимай, когда кто-нибудь говорить будет или петь-плясать, а не всякую ерунду! И Шахчика побольше: смотри, какой он сегодня задумчивый – как позавчерашнее молоко, – Ташка Белорукова глядит прямо в видеокамеру Старикова. Крупные черты ее лица, увеличенные небольшим расстоянием до объектива, смешат Лешку, но он важно кивает, стараясь, чтобы камера не дернулась в его руках.



Ташка – вечный завхоз, по крайней мере, она всегда берет на себя покупку консервов (одну банку тушенки и банку кильки в масле на каждого – согласно сакральным указаниям Шахова). Она же верховодит на кухне во время экспедиции, давая указания, что, когда и как приготовить.

Стариковская камера плавно перемещается, показывая лица сидевших в 417-й. Гул веселых девичьих голосов заполняет собой всё: шкафы, зыбки, ступы, фотографии и каждую архивную папку с расшифровками фольклорных текстов. Басовитый рокот парней, сосредоточенный лишь в одном углу, теряется и пропадает на этом звуковом фоне. В объективе на пару секунд появляется седая борода Шахова, затем видеокамера застывает на напряженных фигурах первокурсников – очкариках Пашке Трошине и Ольге Водлаковой. Они в 417-й в первый раз и пока мало понимают смысл веселой суеты «старичков» и печальных глаз Шахова; запах старых прялок им ни о чем пока не говорит.

– Лешенька, вы нам что-нибудь сегодня сбациаете на прощание? – озорные и опасные глазки-бусинки Юльки Дождиной сверкают на маленьком экране камеры. Стариков снова кивает, на этот раз уже без важности. Юлька – песенница и заводила, которая всегда напоминала ему цыганку из фильма «Жестокий романс». Момент, когда Паратов приезжает куда-то, и – «Мохнатый шмель на душистый хмель, цапля серая...». Там в паре кадров мелькает Дождина – Лешка готов был поклясться, что это именно она.

Стариков делает поворот всем телом и выхватывает Сланцева, настраивающего домру: у Мишки – премьера очередной прикольной пьесы про прошлогоднюю экспедицию. «Этого мы еще сегодня наснимаемся...» – уговаривает Лешка себя и свою неизменную записываю-

щую технику. У него, как выражался еще до армии Будов, на «фиксации повседневности случился бзик»: Стариков записывал на видео и на диктофон разговоры с матерью, посиделки с друзьями, общение с продавцами на рынке и даже – агитацию старшей по дому за очередную управляющую компанию.

– Всё сгодится для науки, – оправдывался Лешка в ответ на ехидные Будовские замечания по этому поводу. – Не для меня, так для других.

Петька крутил у виска и переводил разговор на другую тему – в основном, о женщинах и выпивке.

В объективе – крупная, медвежья фигура бородатого руководителя фольклорного ансамбля «Городец». Толька Тонков сто лет назад закончил Саратовскую госконсерваторию и сам не знал толком, зачем он каждый год присоединяется к экспедиции.

«Надо, Лешка, понимаешь? Песни надо слушать, так сказать, в родной среде исполнения», – вещал он Старикову, хотя тот и не думал его ни о чем спрашивать. «Так ведь и не поют уже ничего почти – из старинного-то! Жестоких романсов – и то не услышишь», – отвечал Лешка только для того, чтобы что-нибудь ответить. «Не услышишь, – соглашался Тонков. – Но ездить-то надо, понимаешь?».

Их разговор обычно на этом и исчерпывал сам себя: а что тут еще добавишь?

Ташка Белорукова торжественно вносит дымящийся чайник, чьи-то ловкие руки шелестят обертками от конфет, тортов, пряников и печений. «Надо обязательно заснять „старичков“: для них поездка в этом году наверняка будет последней. Дальше – диплом, работа, семья», – думает Лешка, стараясь поймать на маленьком экране маленькую фигурку Таньки Родины, облаченную в серый волнистый свитер, словно в доспехи. Из достопримечательностей Таньки можно было назвать отчаянную картавость и необыкновенную, как однажды сказал поэт Сланцев, «живость характера».

– Ну что, – произнес голос Шахова, и Лешкина камера совершает головокружительный бросок в сторону бороды ИП (Ивана Петровича, но чаще – «Шахчика»; не путать с «индивидуальным предпринимателем»). – Мы собрались здесь, господа и дамы, чтобы узнать о пренебрежнейшем известии – нас покидают пятикурсники. Скатаются в последнюю экспедицию, и – поминай как звали. Такова судьба всех пятикурсников, за исключением жалких единиц – в основном, мужского пола.

Зеленоватые глаза ИП делают короткий выстрел в сторону Лешки и Мишки, как бы указывая, кто имеется в виду.

– Особо грустить, конечно, не будем – лучше вспомним прошлые экспедиции, благо к нам приехал великий симбирский, а сейчас уже и московский поэт-драматург Миша Сланцев. Вот он, кстати, если кто не знаком еще – сидит с домрой и скромно улыбается.

Щеки Мишки на миг рдеют, как роза. Но только на миг – Стариков даже не успевает поймать этот момент на камеру.

– А если серьезно, то мне действительно грустно. Давно у нас не было такой дружной, сбитой и веселой команды. Я имею в виду не только наши экспедиции или поездки на Масленицу, но и посещение детских домов.

Стариков забывает о видеокамере, экран плывет куда-то в сторону, и затем он с сожалением обнаруживает, что целую минуту снимал половинку говорящей головы ИП. Лешка вспоминает одну из поездок в детский дом в Барышском районе, и уголки губ его морщит улыбка.

– Меня зовут Дана, мне четырнадцать, – говорит девочка, смотря на видеокамеру, закрепленную на трехногий штатив.

– Кем ты хочешь стать в будущем?

– Психологом. Мне очень хочется помогать людям – тем, кто в этом нуждается.

– А почему ты хочешь помогать? Наверное, потому, что тебе тоже помогали? – слышит Стариков свой голос, который звучит совсем по-чужому в комнатах с высоченными потолками.

Бывшая графская усадьба, в которой располагается детдом, все эти признаки давно ушедшей эпохи – гипсовая лепнина, камин, арочные проходы – обостряют чувства, заставляют оглядываться по сторонам в ожидании чуда: того и гляди в дверь, шуруша подолами старинного платья, войдет сама графиня.

– Нет, – мотает головой девочка, и ее глаза наполняются слезами. – Мне мало кто помог в жизни. Просто когда я вижу больного, обиженного или брошенного, мне их так жалко становится...

Дана держит в руках потертого и заштопанного-перештопанного Вадима – медведя, мягкую игрушку. Вадим – имя отца Даны. Ее мать лишили родительских прав, а отец год назад написал дочке «Вконтакте»: «Зови меня не папа, а Вадим Сергеевич». С тех пор они ни разу не списывались.

В Барышский детдом дружная экспедиционная компания приезжала, чтобы провести с ребятишками весь световой день: разучивали с ними народные игры, пели и записывали их рассказы на видео. Заснятое передавалось волонтерам, которые творили из этого двух-трехминутные видеоанкеты. Небольшие клипы помогали пристраивать детей в приемные семьи – в том числе детей сложных, больных и уже выросших в подростков с хмурыми лицами.

– Нам тут прикольно. В приемной семье я уже была, мне там не понравилось, я лучше в детдоме останусь, – говорит Лера, следующая героиня видеоанкеты, снятой Стариковым. – Кстати, я как только сюда приехала, мне сказали, что по ночам тут графиня по коридору ходит. Но нет, всё это враки...

– Ни фиги не враки, – возражает пятиклассник Артем – взъерошенный и худой, будто воробей. – Я сам лично слышал – точно ходит.

Солидный, как маленький мужичок, Артем перекачивается по комнате, показывает, где его кровать и где висит расписание дежурных. Каждая комната в Барышском детдоме называется «семья», туда стараются поместить братьев или сестер, а воспитателей, прикрепленных к конкретной комнате, меняют очень редко – чтобы дети привыкли к семейному постоянству.

Стариков вглядывается в заляпанный экранчик камеры, и постепенно до него снова начинает доходить смысл сказанного Шаховым.

– Ты чего – заснул, что ли? – картавя, шепчет ему из-за плеча Танька. – Шахчика чего не снимаешь?

Лешка поспешно поправляет видеокамеру.

– В этом году едем в Астрадамовку, Сурский район. Отличное село, мы там записывали в 1982 году, – говорит ИП.

– У Шахчика все села – отличные! – радостно хихикает Родина. И ее смех развеивает печаль Старикова.

– Ну, теперь настала очередь сногшибательной пиесы нашего дорогого московского друга...

– Ну что вы, Иван Петрович, заладили: «московского-московского», я туда, может, не надолго, возьму да и вернусь скоро. У меня и квартира тут осталась, и жена... – щеки Мишки снова розовеют. В голосе его нет обиды, он вообще редко на кого обижается.

– Давай, давай, не томи, презентуй свою пиесу, – улыбается Шахчик и задумчиво подпирает кулаком бороду.

Стариков еще на пару секунд задерживает объектив на ИП и почему-то ему чудятся поющие бабушки, которыми кто-то пытается дирижировать, и что-то другое, грустное, – оставленное у Шахова дома, в семье.

– Итак, пьеса! – объявляет Сланцев (некоторые фрагменты он сопровождает легким подтренькиванием на домре). – Действующих лиц называть не буду, так как они, скаламбурируя, налицо – почти все, так сказать, перед нами.

Он зачитывает предисловие и характеристику персонажей. И в 417-й раздаётся смех – улыбаются все, за исключением студентов-первокурсников. Само содержание пьесы – феерическое, сюрреалистическое, полное намеков и полунамеков на реальные ситуации – смешно только для своих. Со Сланцевым по числу экспедиционных поездок мог конкурировать лишь ИП. Поэтому Мишкины характеристики бьют не в глаз, а прямо в зрачок.

«Шахов: Давайте подумаем, ничего не забыли?

Стариков: Да вроде всё, Иван Петрович.

Шахов: Кипятильники взяли?

Белорукова: Взяли, Иван Петрович.

Шахов: Плитки взяли?

Тонков: Взяли, Иван Петрович.

Шахов: Чайники взяли?

Все (хором): Да взяли, елки-моталки, Иван Петрович!

Шахов: Смотрите, не возьмете чайники, я там вас заставлю покупать резиновые сапоги.

Был у нас в прошлой экспедиции случай...».

В 417-й снова раздаётся смех, гремят чайными ложками, шуршат обертками от конфет. Затем начинается игра в «Мафию». И над всем этим витает терпкий запах старых вещей, никому не нужных артефактов, запах записанных и еще не зафиксированных фольклорных текстов – фрагментов живой жизни и судеб тех, с кем предстояло встретиться в очередной экспедиции.

Глава 4. Тетя Марина Рядова

Мерный стук колес поездов и далекие переговоры вокзальных рабочих раньше никогда не мешали ей спать. В Чапаевск она переехала из Бугульмы лет шесть назад. Может быть, и не красавица, но точно – атеистка, «спортсменка и комсомолка», как говорил товарищ Саахов из известного фильма про фольклориста Шурика.

На новом месте она буквально за два дня устроилась работать библиотекарем, а Вальку отправила в первый класс. Он у нее был второй. Первый сын умер совсем маленьким, и говорить об этом Марина не любила.

– Сегодня, Витьк, представляешь: собираю Вальку в школу, начала головку ему причесывать, а там... – вспоминает она вечерний разговор с мужем и чувствует, как снова холодеют под одеялом руки, тяжелеют и наливаются свинцом ноги. – Нашупала у него в волосах что-то жесткое, как горох. Господи!..

– Да что, что там у него такое? – смуглое лицо мужа испуганно морщится. Он на четверть, а может, и наполовину – цыган. Мать – то ли еврейка, то ли армянка. В общем, жгучая смесь, а результат – не очень. Она про себя его считала трусом и неженкой. Но любила его искренне.

– Вошь, Витька! Вот такущая вошь в голове. Можешь представить? Я сначала одну нашла, затем еще двух. Жуть просто!

– Может, в школе где подцепил? Или на улице?

– Нет, – она качает головой. – Сам знаешь, у него волос русый, тонкий. Я его каждый день расчесываю и купаю. Не мог он за один день такого нацеплять.

– Да ладно, брось! Мальчишка есть мальчишка. Надо чемеричной водой обработать – делов-то.

– Да я уже обработала. Валька весь вечер с пакетом на башке ходил. Но тут что-то другое. Боязно мне...

Марина села на постели и, спустив ноги, нашупала в темноте тапочки. Затем, стараясь не разбудить мужа и не заскрипеть половицами, пошла на кухню. Она долго сидела на холодной табуретке, закрыв лицо руками, и чувствовала, как по пальцам текут соленые струйки. Страх за сына медленно, но верно проникал в ее сердце.

«Мамочка, мама!» – она почти услышала этот детский, младенческий голосок и вздрогнула всем телом. Они жили еще в Бугульме, когда умер ее двухлетний Сережа. Ничего страшнее этого с ней еще не случилось. Две недели она не могла и не хотела выходить из комнаты сына, ничего не ела и почти не пила. Уговоры мужа, свекрови, матери – не помогли.

На девятый день после похорон у нее случилось первое видение. «Голубочек. Голубь в углу его комнаты парил... Я это видела собственными глазами. И вот он головочку свою повернул и та-ак посмотрел на меня! А глаза у него – Сережины!» – шепчет она, и слезы стекают с ладоней и пальцев, холодя запястья, забираясь в рукава ночнушки. Затем было еще несколько видений и снов. Вернула ее к жизни женщина в сияющем белом платье, которая подошла к ней однажды ночью, прикоснулась теплой, как у мамы, рукой к ее щеке и сказала: «Перестань плакать. Ему плохо из-за этого: в воде стоит уже по самую шею. У тебя будет еще сын. Но смотри: береги его!».

И через год у них родился Валька. А атеистка, спортсменка и комсомолка начала потихоньку ходить в церковь и прислушиваться к разговорам полубезумных старух, к которым она раньше ничего, кроме презрения, не испытывала.

Ее «бзик», как выразился бы Будов, был связан с велосипедами. Сын начал просить у нее велосипед с пятилетнего возраста. Она всякий раз находила причину для отказа или откладывала этот вопрос на потом. Уже в Чапаевске, когда он учился в третьем классе и начал «съез-

жать» по всем предметам, она клятвенно пообещала ему велосипед, если он закончит год без троек. Валя поднапрягся и – заработал своего железного коня.

– Господи, ведь я так сама себя доведу до прежнего. Ну вши, ну мало у кого их не бывает? Что же тревожится-то? – сказала сама себе Марина и пошла в ванну умываться. Она старалась убить эти воспоминания, зарубить их на корню, но где-то там, в глубине памяти, стройные ряды мозговых клеточек зашевелились, связи обновились, и событие всплыло. Еще в Бугульме их соседка, тетя Дуся, – богомолка и читалка, к которой полгорода ходили заговаривать зубы, сказала ей однажды – когда Рядова спросила ее, почему так случается, что у одних дети живут, а у других Бог их забирает:

– Не знай, Марин. Пути Господни неисповедимы. Но могу тебе назвать верный признак неожиданной смерти. Вот запоминай: коли человек вдруг погрустнеет – ни с того ни сего, молчит всё да вот вши на него нападут, то тут примечай: смерть уже за порогом, никого не спросит – и заберет.

Лицо Марины скривилось, она посмотрела в зеркало, повешенное на стене в ванной, и со злобой сказала своему отражению: «Дура эта тетка Дуся! Дура старая – только людей пугать. Так и свихнуться недолго. Нет ничего и не было. И иконы все в коробку под кровать спрячу!».

Она выключила свет и легла на остывшую кровать рядом с мужем. Иконы она под кровать не спрятала, но вечером следующего дня коробку оттуда все-таки достала: приближался Новый год и нужно было перебрать старые елочные игрушки.

– Мам, ну давай пораньше в этом году нарядим, а? Ну, пожалуйста! – Валька прыгал вокруг коробки с игрушками, словно молодой козлик. Его выющиеся русые волосы поднимались и опалили вниз при каждом прыжке. Он был совсем не похож на смуглого отца, но зато очень напоминал деда Марины – молчаливого кузнеца с Урала, о котором его внучка знала лишь по рассказам своей бабушки. Та успела увидеть правнука только один раз и сразу сказала: «Весь в Петеньку. Гляди-ка и глаза, и волосы его!».

– Сынок, я все три дня с работы очень поздно буду приходить. Через полгорода придется твою елку тащить. Нарядим 31-го, а?

– Нет-нет, мамочка. Я не дождусь, я не доживу! – радостно закричал Валька, и лицо Марины искажилось. Сын знал, что ничего хорошего это не предвещает.

– Не смей так говорить, слышишь! – задыхаясь, прошипела мать и, вскочив со стула, вышла из комнаты. «Не доживу» – обычная фраза-пластинка Виктора. Муж то и дело ее проносил: «Да я не доживу до зарплаты!». Или: «Да не доживу я, когда ты уберешься в зале!». Так что не было ничего удивительного в том, что Валя подхватил это выражение. Но Марина не могла успокоить дрожь рук несколько минут. Сын осторожно выставил свою русую голову из комнаты, она засмеялась, протянула к нему руки и, прижав к себе, пообещала, что елка этим же вечером появится в их квартире.

Она принесла новогоднее деревце полдвенадцатого ночи 24-го декабря, и сын, снова прыгая от нетерпения, закричал:

– Мамочка, ну, полчаса, давай нарядим, давай нарядим!

И они до двух ночи – как два дурака (одному завтра в школу, другой – на работу) – возились с мишурой, обновляли порвавшиеся на игрушках черные нитки, а потом прицепляли к колючим, пахнущим смолой веткам блестящие шары и шишечки. Белые пластмассовые Снегурка и Дед Мороз с розовой, потертой бородой стояли около зеленого металлического треножника и слегка покачивались, когда наливали воду для деревца. Благоразумный Виктор храпел на диване и не обращал внимания ни на Валькин смех, ни на их тихие новогодние песенки.

Утром Марина ушла на работу, а привезли ее назад уже глубоко ночью – зарёванную, в полубессознательном состоянии, с безумными глазами, изуродованными потекшей тушью.

В тот день Валька вернулся из школы вместе с другом рано – в полдвенадцатого. Федька увидел в коридоре Валькину гордость – велосипед и авторитетно сообщил, что на велике можно кататься и зимой. Отец уже с месяц хотел снять с него колеса и руль, так как тот занимал много места. Но все было как-то некогда да недосуг.

– Давай попробуем, а? У школы вообще почти нет снега – чистый асфальт, – уговаривал друга Федька, учившийся в параллельном классе. И Валька, решив, что родители, быть может, об этом даже и не узнают, согласился.

Когда Марине сказали, что ее зовут к телефону в кабинет заведующей, она поняла сразу, что предсказание тетки Дуси сбылось. Едва переставляя ноги, она добрела до двери, сухими холодными руками взяла трубку и услышала незнакомый голос:

– Я участковый, Андреев Петр Петрович. Ваш сын... Вы должны приехать. Его сбили, он в реанимации...

И на этом их жизнь в Чапаевске закончилась.

Глава 5. Рыжий

Когда народ схлынул, в Мишкиной (точнее – его родителей) квартире осталось трое: собственно хозяин, Стариков и какой-то рыжий тип, который Лешке сразу не понравился. Тип бессмысленно и надоедливо набренькивал на облупившейся гитаре что-то из забытого репертуара «Чижа» и то и дело раскачивался на кресле-качалке. Этот предмет мебели достался Мишке, по всей видимости, от основателей Сланцевского рода. Обычно Лешка сам занимал скрипучее и почетное гостевое кресло, и такое нарушение субординации раздражало и печалило затуманенный самогоном мозг Старикова.

Вообще-то все набрались порядочно, но особенно пьяным казался Мишка: он вскакивал со своего стула, убегал на кухню, возвращался оттуда, как назло, с пустыми руками и раз сто уже показывал одну и ту же страницу своего недавнего сборника. Лешка успевал прочесть только две строчки из стихотворения про домового, и поэт, застигнутый очередным валом вдохновения, снова вырывал книгу из его рук. А затем спешил к рыжему парню, развалившемуся на кресле-качалке, чтобы обсудить с ним качество звука новых, еще почти не тронутых «Металликой» колонок.

Стариков начал уже, было, клевать носом, когда ему кто-то самым бесцеремонным образом поправил съехавшие на нос очки. Он открыл глаза и увидел напротив себя взлохмаченную квадратную голову типчика. Тот, заметив пробуждение, улыбнулся во все 32 зуба и возвестил:

– Мы сейчас с Мишкой идем витрину в супермаркете бить! Тут недалеко совсем. Ты как – с нами? – рыжий облизнул губы и стал настойчиво ждать ответа. Лешка надменно осмотрел квадратную голову, еще раз поправил себе очки и, полагая, что слова нужно подбирать самые доходчивые, простые, произнес:

– Сие нерелевантно, – и снова надолго ушел в себя.

Стены Мишкиного зала поблекли, рисунки на обоях вспучились и поплыли-поплыли... Когда Стариков вновь открыл глаза, то обнаружил себя на привычном месте – в кресле-качалке. Поизучав некоторое время сложный рисунок трещин в побелке на потолке, Лешка попытался поднять отяжелевшую голову. Шея мучительно заныла (как и всегда после избытка самогонных впечатлений), обостренный болью слух выловил из серой духоты мурлыканье Сланцевской кошки. Со стороны застекленного балкона доносились еще какие-то булькающие звуки. Лешка встал и, качаясь, долго выбирал, куда пойти – в сторону туалета или балкона. Последний вариант победил: Старикову было душно и любопытно.



Он с трудом преодолел сопротивление распухшей за зиму оконной створки и высунул большую голову навстречу весенней ночи.

– Ты видел? Нет, ты видел!?! – тотчас услышал Лешка возбужденный голос Сланцева. Стариков и не знал, что можно так громко говорить шепотом: каждое слово отчетливо долетало до пятого этажа, где стоял полупьяный фольклорист. – Бабах! И нет стекла. А!?! И где я только этот булыжник раздобыл? Нет, ты видел!?!

Спустя считанные минуты, все действие повторилось на диване, напротив которого испуганно раскачивалось пустое старое кресло. Лешка не верил собственным глазам: Сланцев, всегда такой спокойный и благообразный, махал перед его лицом изрезанными, окровавленными руками и с неописуемым восторгом описывал свой двенадцатый подвиг.

– Идем, смотрим: витрина светится! Ну тот супермаркет, что через дорогу, ты же видал его, Лешка, да? И вот раз – в руке сам собой булыжник оказывается! Верить, нет? Ну ты же всей этой чертовщиной занимаешься, про оборотней-колдунов постоянно записываешь. Вот и тут то же самое – чудо живое-настоящее: булы-ыжник! А витрина-то, зараза такая, так и светится!..

Светились и веселые глаза подвыпившего Сланцева, который, обмотав руки окровавленными полотенцами, всё никак не успокаивался. Порезы на его руках, как выяснилось позже, – следствие неудачного падения на осколки от той же злосчастной витрины, «теплым, мягким светом приманившей к себе свободолюбивую душу поэта».

Почти протрезвевший Стариков сначала вглядывался в совершенно счастливую рожу Мишки, затем перевел взгляд на сияющее отраженной радостью квадратное лицо рыжего. А потом загоготал, как свадебный конь, – на всю комнату, да так, что в соседней квартире кто-то глухо выматерился и шумно перевернулся на другой бок.

– Юрка, – представился рыжий и протянул руку Лешке. Тот ее пожал, хотя чувствовал, что с этим парнем нужно держать ухо востро: кто знает, какая еще сногшибательная идея может родиться в его лохматой голове.

– Так вы что – целый вечер квасили вместе и еще не познакомились? – удивился Сланцев. – Да это такой чел, Лешка. Ми-ро-вой! И шофер, и телемастер, и фотограф – закачаешься, одним словом. Вот бы нам его в экспедицию, а?

Рука Старикова, которая вознамерилась опрокинуть очередную порцию самогона, замерла на полпути и медленно поставила рюмку обратно на стол.

– И чё: правда, что ли, есть эти оборотни? Сам-то веришь во все это? – мировой чел, фотограф и телемастер с большим интересом разглядывал Старикова. Лешка не любил, когда его рассматривали и расспрашивали: обычно роль исследователя и субъекта он играл сам.

За окном мутными серыми зефирами проплывали утренние облака. Голова раскальвалась. На диване сидел молчаливый и хмурый Сланцев с перебинтованными руками. Пробудившись, они битых полчаса обыскивали квартиру в поисках обезболивающего и нашли-таки пару таблеток анальгина, завалившихся в кармане старой сумки супруги Мишки. Найденное скормили хозяину квартиры, который без прежнего восторга вспоминал содеянное ночью и страдальчески морщился, косясь на бинты.

– У меня, господа и товарищи, скоро Катька с сыном вернутся. Она у тещи до девяти обещала проторчать, а время – полдесятого. Воленс-ноленс¹, как говорили древние латиняне, но вымётываться вам надо, – сказал Сланцев и... улыбнулся. – А все-таки здóрово вчера, да? Вдребезги! Я и сам от себя такого не ожидал!

Стариков в ответ театрально закрыл лицо руками.

– Ну все-таки – ты говоришь, что уж лет пятнадцать про колдунов всяких расспрашиваешь, – продолжал гнуть свое Юрка, совсем не слушая Мишку. – Ну и что: есть они у нас в области или нет?

– А ты поехали с нами летом – там все и узнаешь! – повторил свое щедрое предложение неугомонный поэт к крайнему неудовольствию Старикова.

– Эх, давай-ка еще по одной и разбредемся, – распорядился рыжий. – А то ведь твоя жена меня не любит, это факт.

– Не любит, – подтвердил Сланцев и побежал на кухню за стратегическим запасом. Оказалось, что Мишка и рыжий знают друг друга чуть ли не с детского сада: вместе на горшках сидели – причем не в имплицитно-метафорическом (как решил, было, Стариков), а в буквальном смысле.

– В одной группе воспитывались – детсад «Медвежонок» назывался! – свидетельствовал шофер и фотограф.

Лешка пить отказался: с одиннадцати у него по расписанию значились две лекции и одно практическое.

– Все-таки тяжела судьба вузовского преподавателя: по субботам – работать, – философски заметил Сланцев, закусывая тещиним огурцом.

– Да, а я ведь тоже напреподавался в свое время, – неожиданно вставил новый Лешкин знакомец. – По электротехнике и электродинамике черти политеховские у нас в фирме практику проходили. Да-а! А ты думал?!

Юрка говорил, почему-то обращаясь в сторону Старикова. Лешка же, удивляясь самому себе, все свои реплики адресовал исключительно Мишке. И эта увлекательная коммуникативная игра продолжалась бы Бог знает сколько времени, если бы в дверном замке кто-то не принялся настойчиво шерудить ключом.

¹ Volens-nolens (лат.) – волей-неволей.

– Жена... – упавшим голосом пояснил ситуацию Сланцев. – Пора-пора со двора.

– Давай подождем, пока она в свою комнату пройдет – чтобы на глаза не попадаться! – прошептал рыжий, и каким-то шестым чувством Лешка уловил, что идея мирового чела снова пахнет слишком оригинально.

Катька, с которой, кстати, Сланцев познакомился лет десять назад в экспедиции, долго и молча занималась чем-то таинственным в коридоре, несколько раз открывала и закрывала входную дверь. Потом послышался демонстративный хлопок двери межкомнатной, и всё затихло.

– Пора, – решил Мишка. – А ля хер ком а ля хер. Продвигаемся мелкими перебежками.

Стариков выходил из зала последним, так как долго возился со своей лекторской сумкой. Выйдя, он окаменел, как и два его собутельника. Входная дверь была распахнута настежь, а у лифта неаккуратными стопками лежали сапоги, шапки и куртки припозднившихся гостей.

– Жена – это муза. Должна вдохновлять, – не к месту высказался Мишка и помог друзьям разобраться, где чей сапог.

– Ну, если тебя это вдохновляет – хорошо, так и быть: готов прийти к тебе еще раз, – недовольно заметил Лешка, отряхивая свою шапку.

– Вот поэтому я и не женился. И никогда не женюсь! – категорично заявил рыжий, нажимая кнопку вызова лифта.

Стариков впервые с момента их знакомства посмотрел на Юрку с легким одобрением.

Глава 6. Стариков

313-я, лишенная окон, гудела от студенческих голосов. В те редкие дни, когда легкая рука администраторов, колдующих над расписанием, проставляла напротив его лекций номер именно этой аудитории, Лешка предавался не очень приятным воспоминаниям. В 2009 году он читал здесь культурологию четверокурсникам с технологии и предпринимательства. Этим ребятам его предмет был столь же остро необходим, как его любимым бабушкам – сельская дискотека. Впрочем, посещаемость он тогда умудрился немного повысить, сообщив студентам, что будет производить злостные и нерегулярные проверки лекционных тетрадей. Тетрадки он иногда действительно собирал, искренне восхищаясь наивными написаниями «сдесь» и «зделать».

Так вот: в ноябре упомянутого года, в пятницу 13-го, прямо посреди лекции дверь 313-й аудитории образовала неожиданную щель, оттуда показалась женская голова с испуганными глазами, которая громким шепотом спросила: «Вы что с ума сошли!? Что вы здесь делаете?».

Стариков покосился на притихших студентов, с некоторым сочувствием посмотрел на испуганную голову и ответил банальное: «Лекцию читаем». Женщина тем же страшным шепотом сообщила, что весь педуниверситет давно эвакуировался, так как взорвался какой-то арсенал.

«И неужто вы не видите, что за окнами происходит?» – спросила голова, потом быстро обвела глазами 313-ю и, не обнаружив нигде окон, все равно осуждающе покачала из стороны в сторону. Минут через пять аудитория опустела, а Лешка вместе с тремя еще не убежавшими студентами вышел в коридор полюбоваться фейерверком рвущихся снарядов. Судя по зареву, на противоположном берегу Волги и впрямь случилось ЧП вселенских масштабов.

– Это склад у местных военных взорвался – «31-й Арсенал» называется. Опять Ульяновск на всю Россию прославится! – поведал четверокурсник, успевший проконсультироваться со всезнающим местным новостным порталом...

Сегодня, впрочем, было чуть легче: лекцию поставили у третькурсников-филологов. Тема также попала самая благословенная для утомленного вчерашними посиделками сознания Старикова – европейское средневековье. Лешка плавно перешел от житий к потусторонним видениям, а от них – и до сновидений про «тот свет» рукой подать. Можно расслабиться и вспомнить пару интересных случаев из экспедиций.

– Что любопытно: я уже лет пятнадцать записываю сны про умерших от самых разных людей – различного образовательного уровня, живущих в городе и селе. Сотни встреч и тысячи текстов. Так вот: когда они рассказывают о том, что видели иной мир, складывается четкое ощущение, будто описывается одно и то же место.

– Да тут самое простое объяснение: культурные универсалии! Что же удивительного? – фыркнул самоуверенный девичий голос с задних рядов. Лешка мгновенно опознал говорившую: это Любовь Чирикова – согласно аккуратной подписи на форзаце ее лекционной тетради. Чирикова молодого культуролога недолюбливала, и Лешка это отлично знал – по ответам на практических, по ее приглушенным комментариям во время лекции: «Мы уже это сто раз проходили!» – и по многим другим мелким эпизодам и признакам.

Стариков старался делать вид, что не замечает ее демонстративного отношения, а студентка продолжала это самое отношение усиленно демонстрировать. Будов, если бы Лешка вздумал ему рассказать о своем маленьком противостоянии, наверняка сказал бы: «Да это же любовь, Стариков! Пригласи ее куда-нибудь, цветы подари и так далее. Как говорится: „В зуб ногой, из сердца – вон!“». Ну или что-нибудь подобное – в типичном будовском духе.

– А мне умершие тоже снятся! – тихо сказала девушка в очках и веснушках. Лешка вспомнить ее имени сразу не смог, но уши наострил: когда рассказывают сон – тут не до региональной идентичности и фамильной принадлежности.

– Как снятся? Расскажите, – попросил Леша, сразу забыв о своих непростых взаимоотношениях со студенткой Любовью.

– Бабушка вот года два назад приснилась. Пришла вся в черном, хотя мы ее хоронили в светло-синем платье. Стоит в дверях и говорит мне: «Оль, а что же это вы похлебки-то мне никакой не сварите?». И всё – пропала. Я проснулась, маме рассказала, мы сварили, помянули.

– Да, такие сны я часто записываю: когда какое-то нарушение происходит, покойники напоминают о себе, просят, – сказал Лешка и почувствовал себя почти счастливым – как в экспедиции.

– Ну и где здесь про иной мир? – снова раздался пронзительный голос Чириковой с задних рядов. – Не пойму я что-то. Да и вообще не по теме лекции разговор.

Стариков тяжело вздохнул, прошелся от двери аудитории в сторону окна и наконец изрек:

– Да, вернемся, пожалуй, к житиям. Вы по древнерусской литературе какие агиографические тексты проходили?

– Мне ведь еще один сон снился, Алексей Михайлович. Вернее, не мне, а маме. Я просто при всех не хотела говорить, – все те же очки и веснушки, но теперь поближе к Старикову. – Рассказать?

В аудитории уже никого не было. Слава Богу, ушла и Чирикова – в числе самых последних, недобро поглядывая на оставшуюся веснушчатую.

– Конечно, расскажите, Оля. А я можно диктофон включу? – Стариков, конечно, юлил: кнопку записи он включил давно – еще во время лекции. «Бзик, однозначно – бзик!» – сказал голос Будова в голове у Лешки, но молодой препода отмахнулся от него, как от назойливой мухи.

Девушка неопределенно пожала плечами, что для любого фольклориста всегда означает одно: «Пишите, Шура, пишите!».

– У моей мамы... Ей операцию делали серьезную – ну по женской части. И анестезия пошла как-то неудачно. И вот ей привиделось, она мне сама много раз рассказывала: «Вижу планету какую-то необитаемую, вот всю в рытвинах и кратерах. Вот как Луну или Марс по телевизору иногда показывают, вот такая же. И меня, говорит, кто-то большой и очень неприятный – в накидках или плащах грязно-желтого, темного такого цвета, с ногами-копытцами и глаза у них красноватые, – вот они маму мою в гроб заколачивают. Я, говорит, кричу: «Нельзя меня хоронить! Я же живая!». А они смеются, вот хохочут страшно – у мамы до сих пор, когда она про это рассказывает, мурашки по телу бегают. Хохочут и кричат с издевкой: «Раз ты живая, тогда вспомни свое имя!». А она никак не может! Пытается-пытается вспомнить – и никак.

Ах, да! Забыла. А поодаль – где-то там, ей не видно, но она знает: падают гробы. Один за другим, с глухим стуком. И каждое падение сопровождается такой голос, гул: «Не заслужила доверия! Не заслужила доверия!». Страшно до одури! И тут, видимо, врач-анестезиолог начал звать ее: «Турская! Турская!» – это фамилия моей мамы. И она вспомнила и сказала этим в плащах: «Вот как меня зовут!». И очнулась.

Девушка замолчала, Лешка тоже не сразу заговорил: всегда так делал, чтобы рассказчики могли что-нибудь еще добавить, если захотят или вспомнят.

– Очень интересно. Спасибо, – спокойно и важно кивнул Стариков, хотя сам был рад новому тексту, как третьеклассник – велосипеду. – А я вам в ответ тоже расскажу одно сновидение, похожее по сюжету. Я записывал его лет шесть назад в Сурском районе. Точнее, это

даже не сон, а обмирение. Так называется состояние, когда человек надолго засыпает, ну, знаете, наверное?

– Ага! – очки Ольги заинтересованно блеснули. – Летаргический сон.

– Ну да. В основном, в таких случаях говорят о летаргии. Так вот: мама информантки (ну то есть рассказчицы) обмерла недели на две. Очнулась и говорит: «Побывала я на том свете, дочка!». – «Расскажи, мамк!» – «Да мне не велели много рассказывать-то, а то умру. Но я уж смерти-то не больно боюсь...». И вот она описала, что видела.

Иду, говорит, по полю, а кругом – зелень такая мягкая, пушистая, как паутинка. Встречает меня какой-то мужчина, похожий на Витьку с соседнего села, и ведет к мраморной лестнице, а внизу – вода, ручеек. Перевел он меня через ручей, а сам куда-то делся. Иду дальше и вижу яблоневый сад, а в нем детишки играют, веселятся, поют. Я порадовалась за них, гляжу – с ними вроде как воспитательница. И узнала ее: это Шурка, молоденькая девчонка из нашего села, ее кузовом перерубило – когда грузовик школьный перевернулся. Лет тридцать назад погибла.

«Ты кого здесь ищешь? Тебе здесь нельзя находиться!» – говорит эта Шурка. А сновидица ей отвечает, что ищет, мол, сына своего...

– Как вы интересно рассказываете, – перебила Ольга молодого лектора. – Совсем как моя мама. Она тоже от «я», от «первого лица» чужие сны всегда пересказывает.

– Так все делают, – улыбнулся Лешка. – Уж поверьте мне, я этих текстов наслушался, наисследовался: то и дело скачут от первого лица к третьему. Так вот. Выяснилось, что обмиравшая-то эта давным-давно м-м... по молодости. Сделала аборт, в общем.

Настала Ольгина очередь важно кивать; она как бы подбадривала Лешку, дескать: «Ну что же вы замолчали, любезный Алексей Михайлович? Уж поверьте, мы на третьем курсе не только про аборты слышали!». Голос Будова, собравшегося добавить к этой воображаемой фразе студентки что-то свое – очень срочно-важное – Старикову пришлось подавить усилием воли.

– И вот его-то, неродившегося сына, она пыталась найти. «Это тебе не сюда – надо дальше идти, – говорит Шурка. – Но тебя могут не пустить». А я, говорит, все равно пошла дальше и вижу: за садом-то – черное болото, жижга грязная, вонючая. А там детских головок – кишмя кишат. Гляжу: мой сын, похож он на мужа вроде. А может, и не он. Снова – мой сын, и опять – вроде не он. А я вытащить хочу его из болота, а они-то не пускают... Тут и проснулась.

– А кто же это – «они», которые не пускают? – с легким оттенком разочарования спросила веснушчатая: видимо, она ожидала нечто большее от рассказа Старикова.

– Вот и я своей информантке ровно такой же вопрос задал. «Так, отвечает, – эти самые: мужики какие-то, в балахонах темно-желтых ли, коричневых ли. И с копытцами».

Ольга внимательно посмотрела в глаза Лешке и кивнула. На том и распрощались.

Вообще-то, Стариков очень любил классифицировать, дифференцировать и типологизировать. К примеру, когда он подразделял окружающих людей на различные виды и подвиды, то всегда относил себя к сложному подтипу «homo ratio» и уж никак не к «homo mysticus». Кстати, в детстве Лешку искренне удивляло, если он вдруг открывал, что и другие люди могли быть столь же сложны и богаты внутренне, как и он.

Будов, которому Стариков как-то обмолвился на счет всего этого, тут же заявил, что он, Петька, должен быть немедленно отнесен в категорию «homo erectus», потому что, мол, и ходит он прямо, и во всем остальном – мастак.

Однако последние лет 15 так получалось, что Лешка занимался темами весьма неоднозначными, что и создавало у него проблемы «с синхронией».

– Синхрония, – наставлял он того же Будова еще до его армейских подвигов, – она же «синхронистичность» – это по Юнгу. Совпадение далековатых ситуаций.

– Не учи ученого, – отзывался Петька. – Я этого Карла Густава читал, когда ты еще под стол пешком ходил.

Он был старше Старикова на два с половиной года, чем и побивал его в частых спорах. Но сколько Будов ни вспоминал – привести конкретных примеров из собственной жизни не мог. Зато Лешка порой уставал от этих примеров.

– Вот веришь, Петька: стоит настроиться на что-нибудь этакое, ну, я не знаю – событие какое-нибудь... Да что далеко ходить, вот тебе хороший пример: прогуливаюсь я как-то по Гончарова в сторону фотосалона, ну, помнишь, я там сторожем подрабатывал, было дело. И думаю про себя: «Хорошо бы в этом месте пирожковую-закусочную организовали. А то и пожрать в центре города негде!». Ну и что ты думаешь? Ровно через два дня снова иду на дежурство – нате, как говорил Маяковский, получите и распишитесь: закусовая открыта!

– Совпадение. Обычное совпадение, – отвечал на этот яркий экземпль Петька. – Знаешь, даже болезнь такая есть, что-то наподобие шизофрении: знаки повсюду мерещатся или там на острове Пасхи что-то произошло, а ты узнал – и к себе применил. Всё вокруг тебя, короче, вертится, весь мир. Солипсист ты, вот кто!

– Тьфу на тебя, – обижался Лешка. – Говорю тебе: синхрония чистой воды. Вот ты разве не замечал: узнаёшь неожиданно, что какое-то слово пишется не так, как ты двадцать лет подряд думал. Ну и что? Оно начинает попадаться тебе на каждом заборе, во всех газетах, книгах и на фонарных столбах. Будь это хоть какой-нибудь «престижиджигатор».

– Уж прям тебе престижиджигатора на каждом фонарном столбе нарисуют? – сомневался Будов.

– Говорю тебе: верь, и по вере твоей случится, – парировал Стариков.

С Петькой они на этот счет часто болтали – до того самого момента, пока он затылком чуть остановку не сломал. С тех пор – как отрезало. Стариков знал, что недавнего дембеля выписали из больницы в конце марта с диагнозом «сотрясение мозга и обморожение второй степени» – и всё. Полное отсутствие сведений. Где, как и что он такое теперь, Лешка не ведал: пропал человек, на звонки не отвечает, а ловить Петьку рядом с входом в квартиру его умершей матери у молодого препода времени не было. Он все-таки человек занятой.

Очередная «чистой воды» синхрония приключилась со Стариковым как раз в день взрыва на «Арсенале». Покинув альму-матерь, Лешка устремился к остановке – той, что возле мемцентра. Залез в 96-ю маршрутку, сел поближе к водителю, по одесную, и начал кимарить. Через минуту «Газель» остановилась и к ним на передние места подседа женщина лет тридцати, оказавшаяся, судя по приветствиям, давнишней знакомой маршруточника.

Стариков очутился между двумя активными собеседниками, и буквально через пару фраз у фольклориста сон сдуло, будто ветром.

– Ты прикинь, Дим, какой мне сон вчера приснился! – голова новой пассажирки повернута в сторону водителя, и говорит она пронзительно и четко – прямо в правое Лешкино ухо. – Умершая бабка пришла – в аккурат на сорок дней, вчера как раз и отмечали. Зашла в комнату, склонилась над моей кроватью и говорит: «Ты, Ирка, завтра трамваем езжай. Поедешь на маршрутке – задницу надеру!». Прикинь? Так и сказала. Я мужу за завтраком рассказываю, он гогочет. Ну и что ты думаешь? Сажусь утром на 59-ю, спокойно еду на работу, и тут на Пушкиревском кольце – бабах! – правое переднее колесо отлетает на фиг. Полный пипец!

– Жива осталась? – интересуется водила Дмитрий – уже в левое Лешкино ухо.

– Как видишь. А вот бабуська сзади точно себе что-то сломала. «Скорую» вызвали – и увезли.

– Пипе-ец! – соглашается Дмитрий. И дальше едут некоторое время молча; водитель внимательно посматривает направо – туда, где гремит и вертится переднее колесо его «Газели».

Стариков настороженно ждет новых синхроний, но больше про сны ему в правое и левое ухо не говорят – а всё больше про дурацкий велосипед, который возжелал себе на день рождения сынишка Ирки.

– Вот замучил: вынь да положь. Он у меня третий класс заканчивает. Говорю: «Вот если на четверки-пятерки вытянешь – будет тебе велосипед!». Старается.

– Ага, – отвечает водитель. – Велосипед для мальчишки – первое дело. Я сам...

Старикову приходится прерывать их светскую беседу, так как приближается его остановка.

Глава 7. Баба Катя Арсеньева

– Горит, ей-богу, горит! Федька, мать твою, чайник говорила, когда уходили, посмотри! Посмотри, говорила! Беги, ирод Царя небесного! Беги! – надрывалась бабка Катя и, расширив от ужаса глаза, смотрела, как через улицу – ровно над ее домом – поднималось и дрожало в весеннем вечернем воздухе светлое марево. Муж, перепугавшись вусмерть, по-стариковски кряхтя и отплеываясь, бросился вперед. Она глядела ему вслед и видела, как неуклюже и медленно поднимаются серые подошвы его калош. Но всё побыстрее, чем она доковыляет на своих больных да варикозных. Плача в голос, она понесла свое большое тело к дому.

Вместе с мужем они ушли на поминки на Мертвую улицу в 11 утра и задержались там почти до шести вечера.

«Всё Дуська, ведьма старая: „Посиди да посиди, куда вам торопиться, на горбде ничего еще нет!“. И вот: досиделись до пожару!» – думала Арсеньева, барабаня изо всех сил в раму дома Федосеевых. На стук выскочила сухонькая Марфа, ее подруга.

– Марька! – задыхаясь, голосила баба Катя. – Борька дома у тебя?

– Ну?

– Пушай бежит ко мне! Пожар, видно! Я по пути, по пути заскочила!

Марфа ойкнула, заметалась, как вьюга, по крыльцу, и, уже хлопнув калиткой, Арсеньева услышала ее вопль: «Борька-а! Скорее! Ведра, ведра бери! Телефон – звони, звони в район!».

Она решила срезать по задам, где покорооче бежать, да забыла, видно, что там топь, и, упав, раскровенила больную коленку о прошлогодний корешок. «Ах ты, Господи!» – ничего не чуя от ужаса, она повернула назад и уже через три минуты нырнула за угол. Ее изба была крайняя по Озерной; насупроть всю жизнь торчал колодец-журавель, из которого давно уж перестали пить: появились колонки, где вода посвежее.

Арсеньева пробежала еще несколько шагов, а затем остановилась, как вкопанная, увидев Федьку. Муж стоял на коленях и, сложив два перста («он же у меня кулугур, а я и думать забыла: отродясь он на людях не молился»), со значением клал кресты. Тяжело дыша, бабка Катя смотрела туда, куда, ничего не видя от страха, глядел ее супруг.

На самом деле мы редко в своей жизни сталкиваемся с чем-то действительно новым. А уж если такое уникальное событие случается, то всегда найдется то, с чем это новое можно сравнить.

Вот и Арсеньева увидела шар не шар, тарелку не тарелку. «На дирижаблю похоже!» – почему-то решила она и затем долго придерживалась именно этой версии. Над колодцем висело нечто светлое, похожее на яркий уличный фонарь. («Вот как у Федосеевых, когда луны-те нет, ночи темные, а у них лампа перед двором светит – далеко-о видать»). Только фонарь светил каким-то синим, почти светло-зеленым светом, а внутри него что-то пульсировало – какие-то три маленькие точки-живчики. И из одного живчика бил узкий, дрожащий, словно леска при удачной рыбалке, луч – тоже зеленоватого света. Луч уходил прямо в колодец, откуда, пучась, вырастал еще один цветной гриб света.

– Федька! – наконец не выдержала бабка. – Чегой-то это?

Муж не удостоил ее даже поворотом головы и вновь затеял вполголоса молитву, которую повторил уже раза три: «Да воскреснет Бог, и расточатся враги Его...».

– Да постой ты, кулугур окаянный! Чегой-то там такое? Может, стащить чего хотят, а ты тут ухлопался на землю, как петух на насест. Подымайся да посмотрим пошли! Изба-те не горит вроде?

Сзади послышалось громыханье ведрами, и из-за угла выскочил Марфин сынок – дальнобойщик и пьяница, каких свет не видывал.

– Баб Ка... – начал он и вытаращился в сторону колодца. Затем сделал один шаг назад, другой, и ладони его сами собой разжались, выпустив обе дужки. Ведро гроыхнуло об грунтовку и раскатились в разные стороны.

– Эй, эй, Борька, ты куда? – забеспокоилась Арсеньева. Но Марфин сын успел развернуться и опрометью бросился назад. Уже оттуда, из-за угла, до бабки Кати донесся такой отборный, изысканный трехэтажный мат, что женщине оставалось только развести руками.

Дальнейшее она успела заметить лишь краем глаза, а муж потом уверял, что и вовсе ничего не видел-не помнил: «Анмезия у меня, старуха, ан-ме-зия! Память потерял со страху. И не спрашивай ничего!» – так категорично реагировал он на любые ее попытки покалякать на эту тему. А заметила она лишь то, что луч мгновенно погас, колодец резко потемнел, огненный фонарь резко дернулся и... исчез.

– Шмыг – и нету! – докладывалась она Марфе и еще доброму десятку своих подруг со всей Астрадамовки. – Была дирижабля, и – фьюить! – не стало!

Борька, Марфин прохиндей, наоборот – рассказывал обо всем увиденном охотно и с удовольствием.

– Это, мать твою, эксперименты над нами наше же правительство ставит! Ты вот, тетя Катя, Рен-ТиВи смотришь? А-а! А там эту херню круглые сутки кажут – и НэЛэО тебе, и привидения всякие. Всё наука уже знает, не то что мы – темный лес.

Бабка Катя только раздраженно отмахивалась от него: она и раньше Борьку не больно высоко ставила, а после того, как он при ней смылся от дирижабли – совсем расхотела слушать. Ладно Федька – тот хоть кулугур, но остался с ней до конца. А этот – не-е, молодежь не та пошла, бесхребетная молодежь нонешня. Бес-хре-бет-ная.

Арсеньева сидела у окна на махонькой кухне (по-деревенски – в чулане) и смотрела, как крупные дождевые капли колотят в двухслойное стекло. В межстеколье валялись две-три еще по осени сдохших мухи, высохших, жалких и неприбранных.

Дела все давно переделаны («А чё тут особо делать-то? До огородной стрекотни еще время не дошло, скотины нету, сготовлено и прибрано, какого лешего еще надо-те?»). Старик ее уснул на диване в зале за просмотром «Поля чудес». Сама баба Катя давно уж бросила смотреть передачу с усатым Якубовичем («Одно и то же, Марька, ей-богу: одевается-передевается да охурцы с грибами себе в музей собирает. И что это у него там за музей, блин, капитал-шоу? Безразмерный!»).



Капли быстрыми ручейками стекали по узеньким оконным просветам, туманили действительность, и Арсеньева вспоминала, как когда-то много-много лет назад, году в сорок шестом, она вот так же сидела в чулане у окна родительской избы.

Отец с фронта не вернулся, а мамка работала дояркой и бегала на фирму по три раза за день: рано-рано утром, в полдень и в сутискаx. Катька ждала ее в тот день с вечерней дойки одна-одинешенька. Иногда, правда, к ней приходила подружка Машка с соседней улицы, но чаще она сидела вот так, как сейчас – в темной избе, боясь пошевелиться, потому что сумерки не любили суеты и лишних движений. Кате казалось, что ее движения повторяет кто-то там – тот, кто зыркает на нее из самых темных углов. Да к тому же мамка говорила, что нужно беречь керосин и дрова: живут они вдвоем, как-нибудь переканутуются.

Девочка часто думала о том, что как же хорошо тем семьям, в которых много сестер и братьев. В Княжухе, где она жила до замужества, у некоторых было и по семь, и по восемь детей. Но у мамы она одна... «Зато мамка меня любит сильнее всех на свете! Сильнее даже, чем тятьку!» – этой мысли Катя испугалась, ведь папа умер. А мертвые всё слышат...

Отца она помнила очень плохо. Самое яркое воспоминание – когда однажды ночью, наверное, в сорок третьем году кто-то постучался в их дверь. Мать выглянула в окно и стала белее снега, завалившего весь двор. Она скинула крючок с двери, и в избу вошел худой, почерневший человек с заросшим лицом. Мама плакала у него на груди, а четырехлетняя Катя боялась страшного гостя.

Тогда почерневший человек снял с плеча сумку, достал оттуда что-то желтое и поманил ее к себе.

– Это сахар, дурочка! – хрипло засмеялся он, а потом сгреб ее в свои ручищи и поднял к потолку. Катька расплакалась, а потом сидела на печке, сосала сахар с соринками и подглядывала за взрослыми, беседующими вполголоса. Утром почерневший человек ушел, и ни она, ни мать больше никогда его не видели.

Когда за окном совсем стемнело, девочке очень захотелось пить. Она забыла засветло принести кружку из сенцев, где стояло ведро с водой. В темноте туда идти было очень страшно, а пить хотелось всё сильней. Катя собрала с запотевшего стекла несколько туманных капелек, облизала чуть влажный пальчик и вздохнула. Оконная влага только усилила жажду. Девочка осторожно повернула голову в сторону двери. Нужно всего-то встать, обойти старую, растрескавшуюся табуретку, открыть дверь в сенцы, а там направо – ведро с водой. Кружкой надо

треснуть по тонкой пленке льда (вечером еще подмораживало), черпнуть воды и – назад. Ей уж семь, чего труситься-то?

Девочка набрала в грудь побольше воздуха, слезла со стула и быстро засемила в сторону двери. Тут ее привыкшие к сумраку глаза уловили какое-то движение в кляксе темноты под старой табуреткой. Катя повернула голову и увидела, что там сидит бородастый человечек с глазами-бусинками. На нем краснела рубашечка или кушачок – не разберешь. Они посмотрели друг другу в глаза, а потом человечек сказал: «Уху-у! Уху-у!» – и до Катиного лица донесся теплый запах, похожий на лошадиный.

Дальше девочка плохо помнила, что именно произошло. Она очнулась уже в соседской избе – там жила баба Клава, одна из самых старых жительниц Княжухи. Ей было то ли 96, то ли все 98 – старуха уж сама сбилась со счета. Катя прибежала к ней по весенней грязи босиком, без верхней одежды и сумела каким-то чудом достучаться до глухой соседки.

Та ее приняла, обогрела и даже напоила травяным чаем, пытаясь успокоить дрожащую девочку. Мать нашла ее у соседки часа через два и больше не оставляла одну: сначала отправляла к подруге на соседнюю улицу, а потом начала брать с собой на дойку.

На всю жизнь Катя запомнила слова старой, как жизнь, бабы Клавы. Когда она наконец разобрала, о чем же толкует ей испуганная соседская девчонка, то сказала так: «Эка невидаль! Да это ж дед домовый, дурочка! Он в каждом доме есть да не всяк его увидит. Он вас о чем-то предупредить хочет. Коли: „Уху-у!“ – говорит, то добра не жди. Плохое случится».

И напророчила старая карга: через полгода они погорели. Всё село им помогало строить новую избу – да не на прежнем месте, а ближе к бывшей церкви, в которой новая власть устроила сначала зернохранилище, а потом – клуб.

Дождь всё стучит по карнизу, бороздит окно каплями, а бабка Катя уж дремлет. Разо-вспоминалось ее сердце, растревожилось: вот ведь не только домового ей приходилось за жизнь видеть, но и еще одну чуду.

В кельях Катеринка сидела чуть ли не с четырнадцати лет. Пряла, вязала, под гармошку плясала и к семнадцати такую косу отпустила, что, говорят, даже парни из соседнего Ждами-рова приходили поглазеть. Да только фигу им, а не Катьку: у нее своих, княжухинских, ухаже-ров было как грязи. Из-за этой-то косы проклятой всё и вышло. Ходил за ней парень один, Виктором звали. Ничего, видный такой, но злой, как собака. Катеринка чуяла, что не видать ей доброго от него и держалась подальше.

– Чего ты бегаешь-то от меня? Идем погуляем, по-хорошему пока прошу! – зажал он ее как-то у забора, за руку держит, насупился, черт глазастый.

– Отпусти, говорю! – а он не пускает. Катька вывернулась и бежать: благо, до Николаевых недалёчко, где в то время келья была. Вбежала, раскраснелась, а там – Вовка с «саратовской» приперся, девки всё вязанье побросали и давай друг друга частушками крыть. И дошли ведь до бесприличия.

Выплыла вначале Танька-заводила – она с той стороны, где жилинские, там все такие: им палец в рот не клади. В Княжухе-те раньше два графских управляющих жили – Жилинский и Оболенский, ага. И до сих пор ту сторону, за мостом которая, «жилинскими» кличат. Вышла Танька и давай:

*«Я любила тебя, гад,
Чатьре года в аккурат,
А ты меня полмесяца
И то хотел повеситься!».*

А Вовка за ней, было, годик целый ходил-ухлестывал: вот Танька на него глядит и поет. А все знают да смеются.

Катеринка отдышалась, смотрит: её-то хвост уж на пороге нарисовался. Она за девками прячется, а он за ней, а девки – в центр ее толкают, к гармошке поближе. Та вышла, ударила пяткой, ладошкой в Витькину сторону качнула и отчебучила:

*«Не ходи по коридору,
Не стучи калошами.
Все равно любить не буду —
Морда как у лошади».*

Витька постоял-постоял, лицо кровью налилось, как у рака вареного – и шепотом за дверь. А у нее и ума нет, что он затеял. Она успокоилась, прыг за вязанье. Повязала-повязала и домой собралась. Выходит, а он, собака, из-за кустов выскочил и вдоль хребтины ее ремнем вытянул да не один раз: «Не унижай, дескать, парня перед всеми!». А она и не думала унижать: чё там в голове-то девичьей? Боялась – да, а унижать – да на кой он сдался?

Упала она тогда на дорогу и с испугу так заголосила, что из кельи все девки повысыпали. А он – раз в улицу, и не при делах вроде.

Вовка тогда хотел парней созвать да отметить его по полной, но Катька не дала. «Пусть с ним, – говорит, – лишь бы не подходил больше».

И вот тогда эта история и приключилась. Возле церкви, клуба-то нынешнего, где они теперь жили, пруд был. Он и сейчас есть да зарос. А раньше, говорят, даже лебеди там водились: Оболенский их больно любил и разводил.

Катеринка вида не подавала из-за того случая-то с Витькой, а сама переживала, конечно. Грустно станет – она на этот пруд. И, главное, ночью ведь вздумала шастать, а чё там: вышел из калитки и – направо. Вот сидит Катька как-то, а уж за полночь дело-то было. А посреди пруда тогда камень торчал, вот он и теперь там, наверное («Я уж в Княжухе не была Бог знает сколько – туда и не доберешься ведь!» – Арсеньева зевнула, вытянула затекшие ноги под столом и, заглядевшись на оконные струи, снова начала забываться сном).

И вдруг слышит: хлюп-хлюп, хлюп-хлюп, да, батюшки, что это такое? – кто-то плещется вроде. И образовалась на камне («вот не сойти мне с этого места!») женщина молодая – вся нагишкой, волоса распущенны, ноги к воде свесила и знай расчесывает гриву свою. И гребень какой-то ведь в руках, с гребнем, ага. Сидит Катька ни жива ни мертва, а эта, на камне-то, смотрит на нее и чешет-чешет. А потом рукой манить начала: «Пойдем, мол, пойдем...».

Вскочила девка, матюкнулась и – домой, только пятки засверкали. Слышит сзади: «Хлюп-хлюп!» – они мата-то боятся, нечисть-то эта. Вот и ухлюпала к себе на дно, видно. А Катьку ночью на пруд и калачом не заманишь теперь. Там, в этом пруду-то, говорят, не одна девчонка утопла. Кто по любви, а кто так – по дурости.

Глава 8. Сланцев

– Знаешь, Лешк, как это было? Жена своих подруг созвала, сидят они, болтают, а мне – скучно аж до посинения. Думаю: дай-ка в Интернет слазию! – Сланцев в очередной раз пересказывал полусакральный нарратив о своем приобщении к великому российскому братству самогонщиков.

Стариков внимал ему с удовольствием, понемногу смакуя результаты Мишкиного творчества. В его крохотной рюмке золотился напиток, совсем недавно добытый из небольшой бочки, сделанной из украинского дуба. Повествование поэта приобретало особый смысл в глазах Лешки: ведь именно с этим была связана новая тема, над которой – с благословения всепонимающего Шахова – собирался потрудиться Сланцев в грядущей экспедиции.

Канонический сюжет развертывался так: поэтическое чутье подсказало будущему мастеру набрать в Гугле (вариант: Яндекс) некую последовательность лексем, приведших его к покупке самогонного аппарата отечественного производства.

– Немецкий-то он получше был бы, но для стартапа сойдет и такой, – оправдывался Мишка перед друзьями, приглашенными на дегустацию. Те, хитро посматривая на него, соглашались, что действительно пока можно обойтись и имеющимся оборудованием, но расти над собой, конечно, надо.

И Сланцев рос – не по дням, а по часам. Досадные помехи создавала лишь супруга, не понимавшая ни всей ценности, ни очевидной фольклорной подоплеку творимого на ее глазах преобразования обыкновенного мужа в гуру самогонварения. Мишка охомутал кухонный смеситель цветастым сочетанием шлангов, заявил в ответ на некоторые – сперва робкие – возражения Кати, что каждый имеет право на хобби, и занялся сотворением напитка. Прямо на кухне. И вот тут-то приключился первый досадный промах, едва не стоивший Сланцеву потери хобби, а друзьям – смысла бытия.

Дело в том, что брагу, откуда и добывается ОН, можно, в общем-то, хранить в разных сосудах. Основываясь на рабочих связях, Мишка однажды приволок домой один из самых удачных (ошибаются и боги!) вариантов: стеклянную бутылку на 50 л. Мешать сладкую, ароматную («а Катюку, блин, этот запах напрягает!») жидкость можно также самыми различными предметами. Сланцев выбрал в качестве орудия железный половник с узким черпачком: широкий в бутылку не пролез бы.

– И стук-то был едва слышный: чик по стеночке, а дальше как у Кэмерона в «Титанике» – трещина пошла-пошла-пошла, и раз! Нету бутылки. А есть море разлитое – тягучие, сладкие, ароматные (ну не нравится ей этот запах, Леш, понимаешь!) 50 литров на полу в недавно отремонтированном коридоре квартиры. Текут и текут, а вместо Селин Дион – песня жены! Ох, не дай Бог такого никому услышать – ни в минувшем тысячелетии, ни в нынешнем...

Стариков опять пригубил, будто подсказывая Мишке следующее композиционное ответвление его нарратива: масштабный переезд на балкон. Сланцев прищурился, пронизательно кивнул и продолжил.

– Слава Богу, у меня не балкон, а застекленный аэродром – в футбол можно с сыном играть. И хорошо (дьявол – в деталях!), что рамы на кухне не пластиковые, а деревянные. Дело оставалось за малым: просверлить в рамах дырки для шлангов, купить электроплитку для аппарата, и счастье, казалось бы, близко – гони, экспериментировать, собирай в экспедициях новые рецепты! Но случай, блин, бог-изобретатель, – снова попутал мне все карты.

Роль случая сыграли на этот раз подруги той же жены: как говорится, мы тебя породили («а кто скукой Мишку до Яндекса довел?»), мы тебя и уьем.

– Есть у нее там одна – ты бы, Стариков, точно от нее убежал: ты ведь не любишь баб, которые по поведению мужиков напоминают. Ну, я имею в виду – управлять всем и вся пытаются...

Лешка прикрыл глаза в знак согласия: все-таки диктофон-то пишет, пусть информант побольше сам говорит, а он даже «угукать» в ответ не будет – в соответствии с заповедями великого Шахова, адресованными желторотым первокурсникам.

– И вот она-то, Ирка эта, наболтала ей: «Вот, мол, дядя у меня есть, так же вот самогонщиком заделался, хобби-шмоби, всё такое – и спился, говорит. Угу. Алкашом стал, одним словом. Из дома всё тащит, продает, сам нигде не работает. «А он у тебя еще и поэт! А у поэтов к алкоголизму генетическая предрасположенность», – ага, так и глаголит, представляешь? Что тут началось, Лешка... Хоть святых выноси по одному из дома!

Стариков вновь закрыл глаза в качестве крайнего одобрения, сочувствия и сопричастия другу. И проверил на всякий пожарный случай диктофон – тот исправно фиксировал самогонный нарратив.

Дальше, согласно типовой структуре текста, должны последовать кульминация и благополучная развязка. Впрочем, постойте, но где же волшебный помощник, спасающий главного героя от неизбежного?

– Ты не поверишь, кто тогда спас меня и разрубил гордиев узел наших супружеских отношений. Юрку Котерева помнишь? Ну рыжий такой – ты с ним недели три назад у меня дома познакомился?

Стариков вздрогнул, и его лицо слегка перекосило – так бывает, когда внезапно напоминает о себе потерявшийся под старой пломбой зуб-мучитель. Он-то и думать забыл о рыжем типчике и витринном просветлении пьяного поэта.

– Юрка пришел, вспученный линолеум в коридоре мы с ним перестелили, на балконе всё наладили, он мне новую бутылку приволок – пластмассовую и флягу большую, алюминиевую, в которых раньше, помнишь, в совхозах молоко возили? Всё солидно и основательно, – Котерев он такой. Он даже, знаешь, что с собой припер, когда я ему свою эпопею живописал? Коробку конфет. Я ее жене и подсунул – в качестве символа примирения. А потом, когда она его борщом угощала (ведро ему целое налила – он ест много, но и работает за себя и того парня!), Юрка давай расписывать, сколько у него хороших знакомых самогоном занимается, и все – чуть ли не доктора технических наук. Моя Катька слушает его, а сама молчит. А это, скажу тебе, брат, не совсем добрый знак-то. В итоге вышло так: с аппаратом на балконе она смирилась, а Котерева с тех пор не слишком ценит. Ты и сам видел – про сапоги у лифта помнишь?

– Она и меня теперь не больно-то жалует! – вздохнул Стариков. Перед его глазами, как живые, вдруг встали пронзительные образы сваленных в кучу шмоток – его и рыжего.

– Да ладно, она уж забыла всё. Катька у меня отходчивая! – беспечно махнул рукой поэт. – Кстати, ты про мою идею-то не запамятовал? Взять Юрку в экспедицию? Он и технику любую починит, и машина у него отличная есть – довезет, куда скажешь. Я с ним уже переговорил – он всеми руками «за». А ты как на это смотришь? И Шахова бы надо известить.

Стариков осторожно снял очки, потер большим и указательным пальцами переносицу и ответил вопросом на вопрос:

– Мишк, ну, правда, что он там будет делать? Дурью маяться? Технику нам ремонтировать не надо, водить машину и без него найдется кому. Сфотографировать – тоже не без рук, справимся. В общем, надо внимательно поразмышлять-подумать.

– Подумай, – легко и непринужденно согласился Сланцев. – Только ты, Леша, не забывай, пожалуйста, что экспедиция – это не твоя личная собственность.

– Что ты хочешь ска... – Стариков запнулся и почувствовал, как густая краска заливает всё его лицо.

– Нет-нет, ничего-ничего. Давай еще хряпнем по маленькой? – и поэт упорхнул в сторону бочонка из украинского дуба.

Лешка потом не раз вспоминал этот разговор, каждую его деталь и скрытые интонации-смыслы. И задавал себе один и тот же вопрос: уж не тогда ли он впервые ощутил какие-то странные перемены в окружающем пространстве? Какое-то иное чувство – не совсем четкое понимание того, что где-то что-то неуловимо изменилось. Словно там, за миллионы километров отсюда, рухнуло огромное, вытянутое вверх здание, а здесь, у них со Сланцевым, эта вселенская катастрофа отразилась небольшим сотрясением воздуха, почти неосязаемым движением справа и слева.

«Экспедиция точно будет *другой*», – промелькнуло в голове у Лешки, и он в недоумении по-шаховски подпер безбородый подбородок кулаком...

– Слушай, – произнес через некоторое время Стариков – после того, как они помолчали, закусили и перешли на чай. – Ты мне в прошлый раз всё никак не давал своего «Домового» прочитать по-человечески. Давай я воспользуюсь той редкой возможностью, когда классик еще жив и может, так сказать, сам, без посредников... Почитай, а?

– Ну уж прям так и классик, – заворчал Мишка и порозовел от удовольствия. – Щас, погоди, найду сборничек.

Он приволок из другой комнаты светло-синюю книжицу, запрыгнул, как воробей на ветку, в любимое кресло-качалку (Катки тогда, конечно, дома не имелось) и начал без посредников:

*«Здесь был когда-то дом, в котором жили люди.
И печка согревала их лютую зимой.
Уютно было тут. И думалось: так будет,
что сохранит очаг лохматый домовый.*

*А помнишь времена: село росло и пело,
ваяли топоры пахучий свежий сруб.
И перескрип дверей рождался то и дело.
И вот конек на крыше, изящен и упруг.*

*Тогда слагали песни, тогда сложили печку,
и окна приоделись в наличников узор.
Дом получился добрым, добротным, безупречным,
под озорной, неспешный, ериштый разговор.*

*И молодой мужик сказал тебе: «Айда-ка,
дедуля домовый, со мной». И в кузовок
ты радостно вскочил, самодовольно крякнув.
И в новую избу тебя он поволок...»².*

Лешка засобирался домой – все-таки ему на другой берег Волги пиликать, но тут Сланцев ударил себя по лбу:

– Ведь совсем из головы вылетело: я же тебе тут такой сюрприз подготовил!

– Ну?

– Баранки гну! Устраивайся поудобнее, мы лучше такси потом вызовем – доедешь до своей хаты, тем более тебя там никто не ждет!

² Автор стихотворений, которые в романе приписываются Сланцеву, – ульяновский поэт Андрей Цухов.

Стариков поморщился: он не любил даже косвенных напоминаний о своей неудавшейся женитьбе, разводе и других малоприятных мелочах семейной жизни. И Мишка об этом прекрасно знал – однако ж (попробуй останови поэтическое вдохновение!) иногда и у него проскакивали такие напоминания, словно электрическая искра у давно переставшей работать машины.

– Я тут в анналах своего старого стола такое добыл...

– Звучит тревожно – про анналы-то, – перебил его Лешка предсказуемой шуткой.

– Ага. Так вот: мы его выкидывать собрались, я начал полочки вытаскивать, смотрю: а там – видеокассетка старинная, как песни твоих экспедиционных бабушек. Поглядел на приляпанный скотчем кусок тетрадного листка в клеточку, а на нем – выцветшими чернилами, синим по белому: «Посвящение 2000 года. Барышская Слобода». Помнишь такое?

Что-то справа и слева Старикова снова заколебалось и вздрогнуло – на самый краткий миг, но и этого хватило, чтобы неприятный холодок пробежал вдоль позвоночника.

– Как же, – ответил он хрипловатым голосом. – Веселенькое было посвященьце. Так у тебя разве осталось, на чем такое старье проигрывать?

– Не-а. Я в фотосалон отнес – тот самый, который ты, Лешка, сторожил доблестные пять лет. Там мне и оцифровали ее, – довольный, как мартовский кот, Мишка уже налаживал телевизор, к которому были подключены легендарные новые аудиокolonки. Тут Стариков, как назло, снова вспомнил про рыжего и вздохнул.

– А может, ты мне просто скинешь файл на флешку, у меня есть с собой, да я дома всё посмотрю? – робко предложил Лешка, хорошо зная, как оценит подобное высказывание его друг.

– Ты с ума сошел! Ни за что! – категорически заявил поэт. – Такое надо смотреть только вместе. Я ж тебя знаю: ты дома перепрыгнешь из начала в конец файла и скажешь самому себе, что у тебя времени нет. Тут ностальгия, понимаешь? А ностальгия не терпит суеты. Садись и смотри. Нам, кстати, с тобой еще посвящение этого года надо обсудить – полно новичков-то намечается.

Стариков нехотя опустился на диван, Мишка еще немного поколдовал над колонками, и большой телевизор выпустил в реальность полузабытую ностальгию из Барышской Слободы.

Он уж и не помнил, как их точно звали – то ли Маша и Эля, то ли Саша и Эля, но Эля там точно присутствовала. Началось всё как-то само собой – как и всегда бывает во время хорошего посвящения.

– Посвящение – это не мероприятие одного дня, – любил говаривать ИП. – Его надо готовить всю экспедицию. Иначе грош цена такому приобщению к полевой фольклористике.

Стариков, тогда еще молодой студентик, весь обвешанный магнитофонами, как-то завалялся в школьную столовую и увидел там двух девчонок-первокурсниц, корпеющих над обедом. Сделав скорбное лицо, он пошел за тарелкой, зачерпнул себе густого борща с самого низу восьмилитровой кастрюли и уселся есть в гордом одиночестве.

– Ты что какой грустный, Лешенька? – подседа к нему Эля. Саша тоже наострила свои красивые ушки. Этого-то он и добивался.

– Одну запись надо сделать сегодня ночью. Цыганка позвала – та самая, помните?

Еще бы им не помнить: про свою встречу с пожилой знахаркой, с которой Лешка побеседовал почти шесть часов подряд, он в подробностях рассказал всей экспедиции. Цыганкой она была только наполовину, но собеседница и впрямь замечательная: оборотни, домовые, видения и даже измерение ауры Старикова и меры порчи на нем – всё присутствовало во время их знаменательной встречи. Лешка пришел с записи совершенно счастливый, говорил о ней и на традиционных ночных посиделках, чем произвел на первокурсниц неизгладимое впечат-

ление. Сейчас нужно было всего лишь усилить его и закрепить. Тут рецепт самый простой: к правде прибавляй самую толику небылиц, и всё пойдет как по маслу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.